



Всеволод Михайлович Гаршин
Рассказы
Серия «Школьная библиотека
(Детская литература)», книга 1

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8110543
Рассказы. Вступ. ст. Ю. Козловского: Дет. лит.; Москва; 2001
ISBN 5-08-003980-9*

Аннотация

В книгу вошли рассказы известного русского писателя-гуманиста, такие, как «Четыре дня», «Красный цветок», «Трус», и другие. Все эти произведения проникнуты любовью к людям, в них автор решает проблемы смысла и ценности человеческой жизни.

Содержание

Жизнь Всеволода Гаршина (в сокращении)	5
Четыре дня	9
Трус	18
Встреча	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37



В. Гаршин

Всеволод Михайлович Гаршин

Рассказы

Жизнь Всеволода Гаршина (в сокращении) (1855–1888)

Земной путь Всеволода Михайловича Гаршина был короток; невелико по объему и его творческое наследие. Первый гаршинский рассказ – «Четыре дня», сразу принесший автору известность, был написан и опубликован, когда Всеволоду Гаршину исполнилось двадцать два года, – по тем временам не так уж мало для начинающего литератора.

Все, кто хоть как-то соприкасался в жизни со Всеволодом Михайловичем Гаршиным, неизменно отмечали его необычайные духовные качества.

Его разносторонняя, впечатлительная, богато одаренная натура была крайне чутка ко всему доброму и хорошему в мире; все источники радости и наслаждения в человеческой жизни были ему доступны и понятны. Страстный ценитель искусств, он всей душой любил поэзию, живопись и музыку, никогда не уставал ими наслаждаться. Знаток и любитель природы, он чрезвычайно чутко относился ко всем ее красотам, ко всем ее проявлениям <...>. Он любил людей, был общительного характера, и человеческое общество ему, доброму, скромному и в высшей степени терпимому человеку, всегда было приятно, всегда доставляло удовольствие¹.

Всеволод Михайлович Гаршин родился 2 февраля 1855 года, в последние недели царствования Николая I, в семье кавалерийского офицера Михаила Егоровича Гаршина и его жены, урожденной Акимовой, в имении Приятная Долина Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Всеволод был третьим сыном. В 1858 году отец Всеволода Гаршина получил наследство, вышел в отставку, и жить стали в Старобельске. Наследственность у Всеволода была тяжелая – как со стороны отца, по воспоминаниям, человека хорошего, доброго, но «со странностями», – так, возможно, и матери, обладавшей достаточно тяжелым характером.

В 1863 году родители отпускают восьмилетнего Всеволода в Петербург: нужно было дать ему образование, и в 1864 году мальчик поступает в гимназию (вскоре преобразованную в реальную гимназию, а затем в реальное училище).

Семилетний гимназический курс растянулся для Гаршина на десять лет (что, впрочем, не очень ему повредило, так как поступил он в гимназию раньше срока). Сказались болезни и «леность», в которой Всеволод Михайлович сам признавался в своей биографии.

Дорога в университет для будущего писателя как для выпускника реального училища была закрыта. Всеволод поступил в Горный институт.

Осень 1874 года – первые месяцы учебы Всеволода в институте – ознаменовалась многочисленными студенческими волнениями. На Всеволода, хотя он и не был в числе «бунтующих», эти события произвели удручающее впечатление.

Но постепенно жизнь вошла в свою колею. Гаршин учится, прирабатывает. Круг интересов студента расширялся. У Гаршина появилось много знакомых, в том числе среди молодых художников, близких передвижникам. Споры об искусстве, понимание Гаршиным задач живописи отразились в его рассказе «Художники». Так же как и художник В. В. Верещагин,

¹ Современники о Гаршине. Воспоминания. С. 76.

творчество которого было почти полностью посвящено войне и который погиб на войне, Всеволод Гаршин воспринял ее как страшное зло: оба эти художника – художник кисти и художник слова – были гуманистами и обличали войну как явление. Тема войны станет едва ли не главной в творчестве Всеволода Гаршина. Три года спустя Гаршину и Верещагину было суждено оказаться на полях сражений одной войны и пролить на них свою кровь. 12 апреля 1877 года был обнародован манифест, и началась шестая по счету русско-турецкая война.

С учебой в Горном институте пришлось покончить, и, как оказалось, навсегда. 4 мая Гаршин вместе со своим другом Василием Афанасьевым уже находился в Кишиневе; в качестве вольноопределяющихся 138-го Болховского полка друзья выступают в долгий, порой невыносимо трудный поход.

Всю дорогу от Кишинева до театра военных действий Гаршин и Афанасьев проделали пешком, наравне с простыми солдатами. И это было совсем немало – обстановка нелегкого пути подробно воспроизведена Гаршиным в рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова», написанном пять лет спустя. Великая и благородная цель – освобождение братских народов от чужеземного владычества – придавала Гаршину силы; кроме того, это была первая встреча будущего писателя с настоящей, большой и серьезной, а в чем-то и праздничной, жизнью – отошли в прошлое будничные заботы, душевная смута, казалось таким далеким серое петербургское небо, а рядом шагали, жили люди из совсем другого, почти неизвестного ему мира. Может быть, именно тогда в полной мере осознал Гаршин свое призвание – накапливающиеся впечатления требовали выхода, возникала непреодолимая потребность сказать что-то свое о мире и человеке – такое, что знал и мог сказать людям только он.

Гаршин оказался прав. Именно полученные в походе впечатления дали толчок его творчеству – талант писателя основывался на жизненных наблюдениях и личном опыте; забегая вперед, скажем, что воображение, с помощью которого Гаршин пытался восполнить недостаток знания о предмете, нередко изменяло ему и снижало художественный уровень создаваемого произведения. Поэтому в историю русской литературы писатель вошел прежде всего как автор цикла рассказов о войне и «Красного цветка» – рассказа, также основанного на непосредственном жизненном опыте...

Всеволоду Гаршину не суждено было дослужить до конца войны, пережить зимнюю кампанию 1877/78 года, замерзать на заснеженных перевалах, побывать на Шипке и под Плевной: 11 августа 1877 года, в первом же бою с турками при деревушке Аяслар, Гаршин был ранен в ногу и отправлен в госпиталь, а затем на лечение в Россию.

Последнее десятилетие недолгой жизни Всеволода Гаршина – время его активного писательства. Над первым своим художественным произведением, сразу же принесшим известность и даже прославившим своего автора – рассказом «Четыре дня», – он начал работать еще в госпитале в Беле и закончил его в Харькове, в начале сентября. Как очень часто бывало у Гаршина, в основу рассказа легло действительное событие. Гаршин не просто воссоздал состояние человека, попавшего на войне в трагическую ситуацию, но использовал эту ситуацию, чтобы выразить свои мысли посредством героя произведения – солдата, вместе со всеми и потому бездумно делавшего свое дело и неожиданно оказавшегося в одиночестве перед лицом смерти, получившего для осмысления происходящего те самые четыре дня. Двадцатидвухлетнему писателю удалось художественно отразить драматическую коллизию реальной человеческой жизни: никто не хочет воевать, убивать, и все-таки люди идут на войну и погибают, потому что иначе отчего-то нельзя...

Срок годичного, предоставленного по ранению отпуска истекал, и перед Гаршиным встал вопрос, чему посвятить себя – военной службе (Всеволод Гаршин был представлен к производству в офицеры) или писательству. Чувствует он себя неважно, и, очевидно, тяжелое душевное состояние не дает ему решительно определиться в жизни. Осенью Гаршин

подает прошение об отставке и ложится в госпиталь для проведения освидетельствования. Там он заканчивает прекрасный рассказ «Трус».

Итак, рассказ «Трус», опубликованный в марте 1879 года, вновь посвящен теме войны, и вновь писатель поднимает в нем вопросы жизни и смерти. На этот раз он словно ставит эксперимент, стремясь определить цену человеческой жизни, девальвированную массовой гибелью людей. В рассказе повествование раздваивается: где-то идет война, гибнут сотни, тысячи, десятки тысяч людей, и в это время в Петербурге идет борьба за жизнь тяжелобольного человека. Гаршин пытается разобраться в скрытом парадоксе – врачи, друзья Кузьмы тратят столько энергии и душевных сил, чтобы отстоять его у смерти, ему делают операцию за операцией – и в то же время люди идут на войну, на насильственную смерть, и это кажется всем естественным и даже само собой разумеющимся... «...Когда я направил струю воды на обнаженные кровавые места <...>, я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством, и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей».

Гаршин по-толстовски необычно и остро ставит проблему, не воспринимавшуюся людьми из-за ее привычности, стремится довести до сознания читателя мысль о том, что тысячи смертей – это не статистика, а тысячи трагедий.

Зимой 1878/79 года Гаршину удалось многое сделать. Помимо «Труса», написана «Встреча», задуман рассказ «Художники». Но, пожалуй, наиболее удачным произведением, созданным писателем в этот период, стала сказка «Attalea princeps». В основе ее сюжета вновь лежит действительное событие.

Весной 1879 года Гаршин испытал чувство необычайного подъема. «Он <...> никогда не был так полон кипучим весельем, такой жизненностью, такой суетливой энергией, как весной 1879 года. <...> Талант его был всеми признан; в голове его кипели планы и литературные замыслы». К лету – осени 1879 года относится замысел писателя создать хронику «Люди и война», где он хотел наиболее полно разработать проблемы, в значительной степени затронутые в предыдущих рассказах. С этим циклом связаны рассказы «Денщик и офицер» (1880), «Из воспоминаний рядового Иванова» (1883). Но задуманному не было суждено осуществиться: к осени душевный подъем сменила депрессия.

Кризис наступил в феврале следующего года; внешним толчком для него послужили следующие события. 5 февраля в Зимнем дворце произошел взрыв, организованный С. Н. Халтуриным. Царь остался невредим, погибли и были искалечены неповинные люди. Это событие потрясло Гаршина. Болезнь стремительно развивалась: депрессия сменилась возбуждением. Гаршин совершал странные поступки, производя на окружающих впечатление полубезумного. Вскоре Всеволод Михайлович был доставлен в Харьков в больницу.

...В начале сентября 1880 года В. М. Гаршин был перевезен в Петербург, в лечебницу доктора А. Я. Фрея. Там его состояние несколько улучшилось, но перешло в иную фазу – тяжелой депрессии. В конце 1880 года Всеволода увозит к себе в деревню Ефимовка Херсонской губернии его дядя В. С. Акимов, в надежде, что покой, тишина и физический труд окажут на больного свое благотворное действие. И действительно, очень медленно, в течение долгих месяцев, Всеволод приходил в себя после тяжелой болезни. К весне он был уже неузнаваем. В феврале 1882 года Гаршин получил письмо от Тургенева – ободряющее, с приглашением погостить у него в конце весны в Спасском-Лутовинове.

В том году выходит первый сборник рассказов Всеволода Гаршина; один экземпляр он посылает И. С. Тургеневу. «Любезнейший Гаршин, я получил <...> Вашу книгу, которую прочел немедленно, – пишет ему Тургенев. – Могу повторить <...>: из всех наших молодых писателей Вы тот, который возбуждает большие надежды. У Вас есть все признаки настоящего, крупного таланта: художественный темперамент, тонкое и верное понимание характерных черт жизни – человеческой и общей, чувство правды и меры, простота и кра-

сивость формы – и, как результат всего, оригинальность»². Гаршин высоко ценил поддержку и одобрение Тургенева, пришедшего к нему на помощь в тяжелую минуту жизни; свое лучшее произведение, «Красный цветок», Всеволод Гаршин посвятил памяти умершего в конце лета следующего года великого русского писателя.

Осенью того же года в «Отечественных записках» был опубликован «Красный цветок». Это рассказ о человеческой жертвенности, о великом подвиге, не меньшем, чем подвиг горьковского Данко, вырвавшего у себя из груди сердце и освещавшего им путь людям. Да, речь идет о поступках безумного человека, но ведь безумие его заключается только в неадекватном восприятии мира – в трех красных цветках мака он увидел средоточие всего зла мира; жертвенность же его, гуманизм – это качества, отличающие лучших представителей человечества, и при нравственной оценке его поступка для нас не имеет никакого значения, в здравом уме или в состоянии помешательства он был совершен. Более того, подвиг этого безумца не имеет себе равных, ибо герой один на один вступил в борьбу с мировым злом и пал победителем.

Публика восторженно приняла «Красный цветок»; вышел второй сборник рассказов писателя. Середина 1880-х годов – время его наибольшего успеха.

В марте 1888 года, после некоторого улучшения, Гаршин вновь почувствовал себя хуже. В это время у Всеволода Михайловича произошел разрыв с младшим братом и матерью, – к сожалению, она нашла более чем неподходящий момент для обострения семейных отношений. Ночью 19 марта 1888 года Гаршин покончил жизнь самоубийством.

Ю. А. Козловский

² Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Т. 13. Кн. 2: Письма. 1968. С. 27.

Четыре дня

Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрелы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидоров, молоденький солдатик первой роты («Как он попал в нашу цепь?» – мелькнуло у меня в голове), вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Из рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... его. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», – подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиной к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали «ура!», падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из лесу, на поляне. Вдруг «ура» раздалось громче, и мы сразу двинулись вперед. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Еще страннее было то, что вдруг все исчезло; все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего, а видел только что-то синее; должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло.

Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы – вот весь мой мир. И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твердым, должно быть веткою, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы. Больше нет ничего. Наконец я делаю усилие, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени.

Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет.

Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах.

Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит. И правая и левая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль как зубная: постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что ж это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать бывшее со мной, сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упал (этого, впрочем, я не помню, но помню, как все побежали вперед, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами) – и упал на полянке, наверху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. «Ребята, мы будем там!» – закричал он нам своим звонким голосом. И мы были там: значит, мы не разбиты... Почему же меня не подобрал? Ведь здесь, на поляне, открытое место, все видно. Ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья, ползущего вниз головою, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звезды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться; наконец со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь.

Надо мною – клочок черно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких, вокруг что-то темное, высокое. Это – кусты. Я в кустах: меня не нашли!

Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове.

Однако как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненный, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелиться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А быть может, у меня тогда была только одна рана и другая пуля dokonала меня уже здесь.

Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома!..

Какие-то странные звуки доходят до меня...

Как будто бы кто-то стонет. Да, это – стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же забытый, с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет, стоны так близко, а около меня, кажется, никого нет... Боже мой, да ведь это – я сам! Тихие, жалобные стоны; неужели мне в самом деле так больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман, свинец. Лучше лечь и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно.

В ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагах в пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниция. Это – труп или раненый.

Все равно, я лягу...

Нет, не может быть! Наши не ушли. Они здесь, они выбили турок и остались на этой позиции. Отчего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они, наверное, здесь.

– Помогите!.. Помогите!

Дикие, безумные хриплые вопли вырываются из моей груди, и нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе. Все остальное молчит. Только сверчки трещат по-прежнему неугомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом.

Если бы он был раненый, он очнулся бы от такого крика. Это труп. Наш или турок? Ах, Боже мой! Будто не все равно. И сон опускается на мои воспаленные глаза.

Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет: если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки, пройдут другие, я умру. Все равно. Лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга! Но ее ничем не удержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове. Впрочем, все это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то; убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут; просто скажут: убит один. Один рядовой, как та одна собачонка...

Целая картина ярко вспыхивает в моем воображении. Это было давно; впрочем, всё, вся моя жизнь, *та* жизнь, когда я не лежал еще здесь с перебитыми ногами, была так давно... Я шел по улице, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка; вагон конно-железной дороги переехал ее. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унес. Толпа разошлась.

Унесет ли меня кто-нибудь? Нет, лежи и умирай. А как хороша жизнь!.. В тот день (когда случилось несчастье с собачкой) я был счастлив. Я шел в каком-то опьянении, да и было отчего. Вы, воспоминания, не мучьте меня, оставьте меня! Былое счастье, настоящие муки... пусть бы остались одни мученья, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать. Ах, тоска, тоска! Ты хуже ран.

Однако становится жарко. Солнце жжет. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это – турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это тот самый...



А вот и мой сосед. Да, это – турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это тот самый...

Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?

Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец?...

А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. *Это сделал я.*

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять *свою* грудь под пули. И я пошел и подставил.

Ну и что же? Глупец, глупец! А этот несчастный феллах (на нем египетский мундир) – он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным, трудным походом от Стамбула до Рушука. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, всё лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце.

Чем же он виноват?

И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда! Кто знает, что значит это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах, если бы кто-нибудь пришел!

Боже мой! Да у него в этой огромной фляге, наверно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будет стоить! Все равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажени две, но для меня это больше – не больше, а хуже – десятков верст. Все-таки нужно ползти. Горло горит, жжет, как огнем. Да и умрешь без воды скорее. Все-таки, может быть...

И я ползу. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а все-таки ползу. Наконец вот и он. Вот фляга... в ней есть вода – и как много! Кажется, больше пол-фляги. О! Воды мне хватит надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва!.. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах.

Я напился. Вода была теплая, но не испорчена, и притом ее было много. Я проживу еще несколько дней. Помнится, в «Физиологии обыденной жизни» сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там еще рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил.

Ну и что же? Если я и проживу еще дней пять-шесть, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались. Дороги близко нет. Все равно – умирать. Только вместо трехдневной агонии я сделал себе недельную. Не лучше ли кончить? Около моего соседа лежит его ружье, отличное английское произведение. Стоит только протянуть руку; потом – один миг, и конец. Патроны валяются тут же, кучею. Он не успел выпустить всех.

Так кончать или ждать? Чего? Избавления? Смерти? Ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног? Лучше уж самому...

Нет, не нужно падать духом; буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасен. Быть может, кости не тронуты; меня вылечат. Я увижу родину, мать, Машу...

Господи, не дай им узнать всю правду! Пусть думают, что я убит наповал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествие к соседу меня совершенно измучило. А тут еще этот ужасный запах. Как он почернел... что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы оттащить. Отдохну и поползу на старое место; кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние.

Я лежу в совершенном изнеможении. Солнце жжет мне лицо и руки. Накрыться нечем. Хоть бы ночь поскорее; это, кажется, будет вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

Я спал долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все по-прежнему: раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвижный.

Я не могу не думать о нем. Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках – только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства?

Убийство, убийца... И кто же? Я!

Когда я затеял идти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надменно. Слепленный идеею, я не видел этих слез. Я не понимал (теперь я понял), что я делал с близкими мне существами.

Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь.

А какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых! «Ну, юродивый! Лезет, сам не зная чего!» Как могли они говорить это? Как вяжутся такие слова с их представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах? Ведь в их глазах я представлял все эти доблести. И тем не менее – я «юродивый».

И вот я еду в Кишинев; на меня навьючивают ранец и всякие военные принадлежности. И я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, «сознательные», проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, или даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли – только бы позволили.

Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звезды померкли. Темно-синее небо посерело, подернулось нежными перистыми облачками; серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего... Как это назвать? Жизнь? Агония?

Третий... Сколько их еще осталось? Во всяком случае, немного... Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером.

Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет, кажется, жарко. Мой сосед – что станет с тобой? Ты и теперь ужасен.

Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою. Что сделает с ним солнце сегодня?

Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отползти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться; но – передвинуть свое тяжелое, неподвижное тело? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час.

Все утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я отполз-таки сажени на две и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние, до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается; все внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздух так и плывет на меня.

Я прихожу в отчаяние и плачу...

Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве. Вдруг... Не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет. Да, это – говор. Конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги... Хорошо, если еще только это; но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это – наши? О проклятые кусты! Зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них; только в одном месте будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, в лощину. Там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеек как мостик. Они, наверно, поедут через нее.

Говор умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят: у меня и слух ослабел. Господи! Если это наши... Я закричу им; они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня; я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он несколько не ослабел.

И вдруг на переходе через ручей показываются казаки! Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди, на превосходной лошади, чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал:

– Ры-сью, ма-арш!

– Стойте, стойте, Бога ради! Помогите, помогите, братцы! – кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья, – и меня не слышат!

О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мною фляжки течет вода, моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полужакрытыми глазами. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим, чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я, – вот ее изображение».



А солнце жжет и печет по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю. Жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня!

Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучили бы час, два, а тут я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдание людям войну!

Но вы с Машей, должно быть, и не услышите о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь! Ах, как тяжело, горько! Под сердце подходит что-то...

Опять эта беленькая собачка! Дворник не пожалел ее, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. И мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра – четвертый, потом пятый, шестой... Смерть, где ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходит и не берет меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтоб освежить воспаленное горло, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся! Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда – моя очередь. И я буду таким же.

Проходит день, проходит ночь. Все то же. Наступает утро. Все то же. Проходит еще день...

Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. «Вот ты умрешь, умрешь, умрешь!» – шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» – отвечают кусты с другой стороны.

– Да тут их и не увидишь! – громко раздается около меня.

Я вздрагиваю и разом прихожу в себя. Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

– Лопаты! – кричит он. – Тут еще двое, наш да ихний.

«Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив!» – хочу я закричать, но только слабый стон выходит из запекшихся губ.

– Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив! Да доктора зови!

Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то. Потом все исчезает.

Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле...

– Сто-о-ой! О-опуска-ай! Санитары, четвертая смена, марш! За носилки! Берись, подыма-ай!

Это командует Петр Иванович, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата.

– Петр Иванович! – шепчу я.

– Что, голубчик?

Петр Иванович наклоняется надо мною.

– Петр Иванович, что вам сказал доктор? Скоро я умру?

– Что вы, Иванов, полноте! Не умрете вы. Ведь у вас все кости целы. Этаким счастливец! Ни кости, ни артерии. Да как вы выжили эти трое с половиною суток? Что вы ели?

– Ничего.

– А пили?

– У турка взял флягу. Петр Иванович, я не могу говорить теперь. После.

– Ну, Господь с вами, голубчик, спите себе.

Снова сон, забытье...

Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сестры милосердия, и, кроме них, я вижу еще знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне:

– Ну, счастлив ваш Бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну, да ведь это – пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано.

1877

Трус

Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится – предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: «Потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных – это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кричать о себе всю Россию, а на аванпостные дела с «незначительными» потерями тоже в несколько десятков человек никто не обращает внимания?

Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне:

– Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты и вам самим придется стрелять в людей.

– Меня, Василий Петрович, не заберут: я зачислен в ополчение.

– Да если война затянется, тронут и ополчение. Не храбрится, придет и ваш черед.

У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронут и ополчение – тут нет ничего невозможного. «Если война затянется...» Да она, наверно, затянется. Если не протянется долго эта война, все равно начнется другая. Отчего ж и не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война – только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро.

Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды; я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла, – я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы – свободы располагать своим телом.

Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны.

– Относитесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет, – говорит он. – Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает: она не дает мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать,

а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?

– Неужели?

– Третьего дня решила, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал; спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. «После, говорит, доучусь, если жива буду». Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится.

– А что ж Кузьма Фомич?

– Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! – Василий Петрович покрутил головой. – Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!

– Мне кажется, Василий Петрович, это нехорошо, что он живет с вами.

– Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя – отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.

– Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!

Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.

Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок... Двенадцать тысяч... Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составит дорога в восемь верст... Что же это такое?

Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли... я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.

Трус я или нет?

Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?

Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, – правда, немногие, – в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог

обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня...

Всё новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв – валяющиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.

– Что с тобой? – спросил я его.

Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.

– У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, – сказала Марья Петровна. – Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.

– Доктор сейчас придет; я заходил к нему, – сказал Василий Петрович.

– Очень нужно было, – процедил сквозь зубы Кузьма.

– Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?

– Чем бы ни кончилось, все равно, – пробормотал Кузьма.

– Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, – тихо сказала Марья Петровна.

Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухолити щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрела на Кузьму.

Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменялось на озабоченное.

– Пойдемте, пойдемте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас.

Я пошел за ним в комнату Кузьмы.

Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

– Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? – спросил доктор.

– Есть, я думаю, – ответил Кузьма недоумевающим тоном.

– Я попросил бы их, – сказал доктор, любезно обращаясь ко мне, – с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной.

Он вышел из комнаты; Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.

– Доктор приказал дежурить около Кузьмы.

– Разве в самом деле есть опасность? – тревожно спросила Марья Петровна.

– Вероятно, есть; иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?

– Ах, конечно нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему; ему ведь очень скучно лежать одному.

Кузьма встретил нас улыбувшись, насколько ему позволила опухоль.

– Вот спасибо, – сказал он, – а я думал уж, что вы меня забыли.

– Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, – улыбаясь, сказала Марья Петровна.

– И вы будете? – робко спросил Кузьма.

– Буду, буду, только слушайте меня.

Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.

– Ах, да, – сказал он вдруг, обращаясь ко мне, – дай мне, пожалуйста, зеркало: вон на столе лежит.

Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.

Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражен.

Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня «пристроили» бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а во-вторых, что-то не подчиняющееся определению сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо», – говорит мне внутренний голос.

Случилось то, чего я никак не ожидал.

Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.

– Что такое, Марья Петровна, что с вами?

– Тише, тише, пожалуйста, – зашептала она. – Знаете, ведь все кончено.

– Что кончено? Не умер же он?

– Нет, еще не умер... только надежды никакой. Оба доктора... мы ведь другого позвали...

Она не могла говорить от слез.

– Подите, посмотрите... Пойдемте к нему.

– Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите.

– Все равно... Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало; ведь сам скоро был бы доктором.

Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно.

– Что с ним? – спросил я шепотом.

– Пусть он сам... Оставайтесь с ним, я не могу.

Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате; только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его; не то чтобы его черты слишком переменились – нет; но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки

должен был испытывать этот человек. «Неужели он в самом деле так опасен? – думал я. – Не может быть; не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо».

Он открыл глаза и увидел меня. Не переменив выражения лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова:

– Здравствуй... Вот видишь, каков я... Конец наступил. Подкрался так неожиданно... глупо...

– Скажи мне наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть, вовсе и не так дурно.

– Не дурно, ты говоришь? Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри!

Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена.

Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марьей Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы, вдвоем или втроем, приступаем к постели Кузьмы, повертываем и приподымаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттаперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, «потому что, – объясняет он, – щекотно». Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, «бразды правления», то есть гуттаперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения и вся постель бывает облита водою.

Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недостижимым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость как должное и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью.

Иногда он очень страдает. Рана его горит, лихорадка трясет его... Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди – и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях горами мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел.

Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа.

Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо.

– Вставайте, вставайте! – говорила Марья Петровна.

Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

– Пятна, новые пятна! – разобрал я наконец.

– Какие пятна, где пятна?

– Ах, Боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались. Я уже послала за доктором.

– Да, может быть, и пустое, – сказал я с равнодушием только что разбуженного человека.

– Какое пустое, посмотрите сами!

Кузьма спал, раскинувшись, тяжелым и беспокойным сном; он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Это гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хотя я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть.

Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени, и молча смотрела на меня отчаянными глазами.

– Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна. Придет доктор, посмотрит; может быть, еще не все кончено. Может быть, еще выручим его.

– Нет, не выручим, умрет, – шептала она.

– Ну, не выручим, умрет, – отвечал я ей так же тихо, – для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи.

– Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни? И сама не могу объяснить себе, отчего это. Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня, а умрет он – сердце у меня разорвется. Все мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что, любя я его – жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет: виновата, виновата, виновата...



Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Марья Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветило солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь и страх смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Марья Петровна смотрела на него несколько мгновений как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклонясь над бедным полутрупом, она поцеловала его.

Тогда он открыл глаза.

– Боже мой, как не хочется умирать! – проговорил он.

И в комнате вдруг раздались странные тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим.

Я ушел из комнаты. Я сам чуть было не разревелся.

Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты, – а там? Кузьма, вместе с страхом смерти и физическими страданиями, испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то! Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот придут и добьют или наедут пушки и раздавят, как червяка...

– Я вам скажу откровенно, – говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, – что в подобных случаях, при госпитальном лечении, умирают девяносто девять из ста. Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь.

– Всякий больной желает выздороветь, доктор.

– Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства, – сказал доктор с улыбочкой. – Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию – прорежем ему новое отверстие, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться.

Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами.

– Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию? – обратился он к Львову.

Львов кивнул головою, засучил рукава и с серьезно-мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и зашелкал зубами от боли.

– Ну, не бабничай, – угрюмо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку.

– Очень больно? – ласково спросила Марья Петровна.

– Не так больно, голубушка, а ослабел я, измучился.

Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился. Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марьей Петровной стали приводить комнату в порядок.

– Поправьте одеяло, – проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. – Дует.

Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося получше подсунуть одеяло. Я старался сделать это как можно лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги.

– Неумелый ты какой, – тихо брюзжал он, – опять в спину дует. Пусть она.

Он взглянул на Марью Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему.

Марья Петровна поставила склянку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели.

– Поправить?

– Поправьте... Вот хорошо... тепло!..

Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски-счастливым выражением на измученном лице заснул.

– Вы пойдете домой? – спросила Марья Петровна.

– Нет, я выспался отлично и могу сидеть; а впрочем, если я не нужен, то уйду.

– Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти так горько, так тяжело!

– Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.

– Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком.

– А вы все-таки едете?

– Еду, конечно. Выздоровеет он или умрет – все равно поеду. Я уже сжилась с этой мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях.

– Ах, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне.

– Отчего? Работать буду – вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется.

– Принять участие! Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это!

– Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну? Только... как бы это вам рассказать?

Война – зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все равно она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть *общее* горе, *общее* страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится.



– Будьте тверды, Марья Петровна, сестре
милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.

Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам *чувствовал* то, что она чувствует и думает, только *думал* иначе.

– Вот вы, кажется, всё думаете, как бы постараться остаться здесь, – продолжала она, – если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.

– Что же делать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?

– Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петербурге – живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать – может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет.

Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения... ружейным приемам. У меня и теперь раздается в ушах:

– Смирно!.. Ряды вздво-ой! Слушай, на кра-аул!

И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядов, меня назначат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых...

Ну, да это все равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно...

Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они, до распределения по полкам, в огромном сарае, бывшем манеже: его разделили полатами на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться как знают. На проходе, идущем посредине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков: настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы, в новых свитках и смушковых шапках, лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек десять.

– Здравствуйте, братцы.

– Здравствуйте.

– Давно из дому?

– Та вже дві неділі. А вы яки-таки будете? – спросил меня один из них.

Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились.

– Скучно? – спросил я.

– Так як же не скучно! Дуже моторно. Коли б ще годували, а то така страва, що и Боже мій!

– Куда ж вас теперь?

– А хто ёго зна! Кажуть, пид турку...

– А хочется на войну?

– Чого я там не бачив?

Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов и вскоре после кото-

рой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе, «сто чортив ему конных у горло», о том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур... Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарях, о деле, за которое шел умирать.

Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:

– Этого самого турку бить следует.

– Следует? – спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.

– Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смирно... был бы я теперь дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будьте спокойны, верно я говорю. Папиросочку пожалуйста, барин! – вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку.

Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время, свободное от службы.

«Он бунтует, а нам огорчение», – звенел у меня в ушах пьяный голос. Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь.

У Львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рана его и очистилась: страшный жар, бред, стоны. Брат и сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и ученьями. Теперь, когда они знают, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее.

– В форме уже! – проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами. – Эх вы, люди, люди...

– Что же мы за люди, Василий Петрович?

– Заниматься вы мне не даете – вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну; и так многого узнать не придется, а тут еще вы с Кузьмой.

– Ну, положим, Кузьма умирает, а я-то что?

– Да вы разве не умираете? Не убьют вас – с ума сойдете или пулю в лоб пустите. Разве я не знаю вас, и разве не было примеров?

– Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович!

– Отстаньте вы, очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам. И я ничего не знаю, это я так сказал.

Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой «пример».

– Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал. Вышли они только что из Кишинева, в апреле, тотчас после объявления войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут; прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная: на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали. Дождь хлещет, на теле ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет-тянет человек и упадет лицом в грязь без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! «Что тут было, – офицер мой говорит, – вспоминать страшно!» Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. «Не могу, говорит, я вынести этого зрелища; уеду вперед». Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и наконец сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит...

Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где ж вам самые-то муки одолеть?

– Василий Петрович, да не легче ли самому муки нести, чем казниться, как этот доктор?

– Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запягут.

– Совесть мучить не будет, Василий Петрович.

– Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите: она насчет этих тонкостей дока. «Анну Каренину» ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить – все может; а уж эта штука в каком-нибудь романе, наверно, разобрана. Прощайте, философ!

Он добродушно рассмеялся своей шутке и протянул мне руку.

– Вы куда?

– На Выборгскую, в клинику.

Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его.

– Тебя здесь оставят или ушлют в армию? – спросил он.

– Отправят; разве ты не знаешь?

Он молчал.

– Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю... Что ж, поезжай. Нужно.

– И ты, Кузьма Фомич!

– Что «и я»? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай! Нужнее тебя есть люди, работающее тебя, и те идут... Поправь мне подушку... вот так.

Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь.

– Все это верно, Кузя, да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров: устроить это нетрудно. Я не делаю этого; меня требуют, и я иду. Но пусть по крайней мере мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение.

Кузьма лежал неподвижно, устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову.

– Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее, – проговорил он. – Я измучен и раздражен и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив; должно быть, скоро помирать пора.

– Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает, все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует.

Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад: «Нет, не выздоровеет, умрет».

– А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было! – слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. – Тебя ушлют драться, и мы с Марьей Петровной поедем: она милосердной сестрицей, а я врачом. И буду я около тебя, раненного, возиться, как ты теперь около меня.

– Будет болтать, Кузьма Фомич, – сказала Марья Петровна, – вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение.

Он отдался в наше распоряжение; мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестящую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей.

Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер – все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло...

Вот наконец и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома; и я сижу в своей комнате один, в последний раз! В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытывавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончать ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты, ... ты, палец от ноги?...

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть; завтра нужно встать очень рано.

Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы – лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, набитом людьми, я ощутил такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтоб хоть несколько минут провести с кем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома... Может быть, кто-нибудь не утерпит и приедет... Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел; никто не станет рассчитывать на опоздание. А все-таки, может быть... И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго.

Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу.

Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы: «Кузьма умер».

На этой фразе кончаются заметки в записной книжке. Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его, на них белые же, заиндеветшие деревья. Небо пасмурно, низко; в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов; дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда взглядишься в нее пристальнее, то видишь, что она состоит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма, несущегося с нее, и хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше.

Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.

– Пошли, братцы, пошли... Эх, не дойдут!

– И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли.

– Жизнь тебе надоела, что ли? – угрюмо сказал пожилой солдат из «билетных». – Лежи, коли положили, да благодари Бога, что цел.

– Да я, дяденька, цел буду, не сомневайтесь, – отвечал молодой солдат с веселым лицом. – Я в четырех делах был, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потом – ни Боже мой! Вот барину нашему впервой, так он небось у Бога прощенья просит. Барин, а барин?

– Чего тебе? – отозвался худощавый солдат с черной бородкой, лежавший возле.

– Вы, барин, глядите веселее!

– Да я, голубчик, и так не скучаю.

– Вы меня держитесь, ежели что. Уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит. А то был такой до вас вольноопределяющий, так тот, как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он и сумки и ружье; побег, а пуля ему вдогонку, да в спину. Так нельзя, потому – присяга.

– Не бойся, не побегу... – тихо отвечал «барин». – От пули не убежишь.

– Известно, где от ей убежать! Она шельма... Батюшки светы! Никак, наши-то стали! Черная масса остановилась и задымилась выстрелами.

– Ну, палить стали, сейчас назад... Нет, вперед пошли. Выручай, Мать Пресвятая Богородица! Ну-ка еще, ну, ну... Эка раненых-то валится, Господи! И не подбирают.

– Пуля! Пуля! – раздался вокруг говор.

В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился.

– Носилки! – закричал кто-то.

Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась атака, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого как снег.

– В нас, подлец, метит! – закричал веселый солдат.

Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрел. Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что «барин» лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие.

1879

Встреча

На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход («вероятно, английский», – подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не выдавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.

– Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!

– Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват!

– Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать... – принужденно-чинным молодым голосом заговорила девушка.

Конца Василий Петрович не дослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха.

«Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать», – подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. «Да, придется работать на этом скромном поприще, – думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю. – Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороку, брат Василий Петрович, на все эти затеи; попробуй-ка здесь поработать!»

И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать «искру Божию» в мальчиках; как будет поддерживать натуры, «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы»; как под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, «чуждые житейской грязи»; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них – профессор такого-то университета, известный «у нас и в Европе», другой – писатель, знаменитый романист, третий – общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. «Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович», – говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...

Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. «Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою, – подумал он. – Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сбе-

регу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти...» Чувство удовольствия охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательные письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адреса. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочесть адреса ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты. «О, моя Лиза!» – проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.

Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.

Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.

Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с навернутым на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:

– Позвольте закурить.

– Сделайте одолжение, – ответил Василий Петрович.

Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.

– Николай, друг мой! Ты ли это?

– Василий Петрович?

– Он самый... Ах, как я рад! Вот не думал, не гадал, – говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лобзая его. – Какими судьбами?

– Очень просто, на службе. А ты как?

– Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.

– Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.

– Поедем, поедем, – согласился Василий Петрович. – Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню, – и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! – закричал он.

– Не нужно, не кричи. Сергей, давай! – громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.

К тротуару подкатила щегольская коляска; хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.

– Кудряшов, эти лошади – твои?

– Мои, мои! Что, не ожидал?

– Удивительно... Ты ли это?

– Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить.

Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатила, дребезжа и подсакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. «Что за притча! – думал он. – Давно ли Кудряшов был беднейшим сту-

дентом, а теперь – коляска!» Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.

– Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину, – сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.

Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина.

– Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо, – сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином. – Неужели собственная?

– Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

– Полторы! – протянул Василий Петрович.

– Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.

– Дрянь! – воскликнул в изумлении Василий Петрович.

– Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...

Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая «под дуб» с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заключенных один в другой, и множества других ненужных вещей.

Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разною бронзовою и фарфоровою мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.

– Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища, – сказал он.

– Я тоже... Знаешь ли, приехал, как в пустыню, и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константиныч, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...

– О чем это?

– Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Помнишь...

– Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или как там ее; знаю только, что полтинник штука.

Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:

– Николай Константиныч, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет – и у тебя такое место.

– Что место! Место, брат, плюнь да отойди.

– Как же это? Да ты сколько получаешь?

– Каких? Жалованья?

– Ну да, содержания.

– Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов-второй, тысячу шестьсот рублей в год.

У Василия Петровича вытянулось лицо.

– Как же это? Откуда это все?

– Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.

И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.

– Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?

– Вижу, – ответил Василий Петрович, – что же дальше?

– Знаешь ли, что это?

– Нет, не знаю.

Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.

– Что это такое? Чертежи?

– Чертежи-то чертежи, но чего?

– Право, друг мой, не знаю.

– Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол?

– Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол – это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...

– Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?

– Как же, конечно! Необыкновенная картина! Но построек я не заметил.

– Мудрено и заметить, – сказал Кудряшов со смехом. – Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.

– Где же это?

– Да вот у меня и у прочих строителей: у Кноблоха, Пуйциковского и у прочих. Это – между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.

– Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...

– Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: «нечестные средства»? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдастся мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты это

оставь; прежде всего это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь – нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.

– Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.

– Это ты можешь; можешь душою болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: «какая я, однако, телятина»; так и скажешь, помани мое слово. Пойдем-ка, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

– Тебе все равно.

– Ну, например?

– Ну, тысячи три заработаю с частными уроками.

– Вот видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам! А я сижу себе да посматриваю: хочу – делаю, хочу – нет; если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они – «вещь для нас пустая».

В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф возвышался розовой горой. Банки с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками. Целый ряд бутылок воздвигался на столе. Приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкою; он совершенно углубился в свое занятие.

Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок – краденый, – думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино. – А сам что я делаю, как не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну, так что ж?» И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. «Ну что ж, буду наблюдать», – мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он и сам перед собой сконфузился. «Для чего мне наблюдать, писатель я, что ли?»

– Этакого мяса, – начал Кудряшов, – ты обрати внимание, не достанешь в целом городе.

И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблоха, как его поразил своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал.

– Ты попал как раз кстати, – сказал он в заключение рассказа о мясе. – Едал ли ты что-нибудь подобное?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.